



Федотов О.И.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА НА РОДИНЕ И НА ЧУЖБИНЕ

Аннотация. Статья посвящена одному из самых великих праздновств православного христианства – Великому дню Воскресения Господня. На материале творчества Гоголя, Толстого, Шмелева и Набокова описываются различные аспекты его идеологического и художественного воплощения. Особое внимание уделяется органической связи Пасхи в представлениях русского человека с чувством патриотизма и ностальгии. Страстная мечта о Воскресении всего человечества для вечной жизни обостряется у него обыкновенно или на чужбине, или при бесчеловечном терроре.

Ключевые слова: христианство, православие, Пасха, Воскресение, ностальгия, братство, Гоголь, Толстой, Шмелев, Набоков.

1

Главные христианские праздники Рождество Христово и Пасха пользуются далеко не одинаковой популярностью среди католиков и православных. В католическом мире безусловный приоритет отдается Рождеству, в православном – Пасхе. Как отмечал Николай Гоголь, «в русском человеке есть особенное участие к празднику светлого воскресенья. <...> День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека» (372, 373)¹.

Автор «Выбранных мест», однако, готов признать, что русский человек проявляет это участие *лишь ностальгически*, «если ему случится жить в чужой земле», досадуя на то, что «в других странах день этот почти не отличен от других дней, – те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выражение на лицах» (372). Наивную веру предков, считает он, исказило тлетворное влияние Запада, проявившееся в гордости «чистотой своей» и «умом своим» (374–377). И все же мечта о том, что «праздник воскресения Христова воспряднуется» как должно, и, «прежде у нас, чем у других», по мнению писателя, продолжает жить в русском народе. Особую предрасположенность русских именно к этому празднику он объясняет целым комплексом взаимосвязанных причин: 1) «Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней»; 2) «уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой его слово»; 3) «начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства»; 4) «еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья» и «озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые составляют препятствие непреборимое к соединению людей и братской любви между ними»; и, 5) «есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная», проявившаяся ярче всего в Отечественной войне 1812 г. (379–380).

Как отмечает автор книги «Пасхальность русской словесности» Иван Есаулов, даже название дня недели – воскресенье – также свидетельствует о преобладании в мировосприятии русского народа пасхального архетипа, а «сама неделя после Пасхи именуется *святой*: в русском языке, таким образом, связывается воедино *святость, Пасха* и национальный идеал, каковым является *Святая Русь*»².

С этим же словом связано и название одного из самых совершенных и мировоззренчески репрезентативных творений Льва Толстого. Празднование Пасхи и связанные с ней настроения празднующих описываются следующим образом:

«Приехал он в *конце марта*, в страстную пятницу, по самой распутице, под проливным дождем <...>

Нехлюдов распределил свою поездку так, чтобы пробыть у тетушек сутки, но, увидав Катюшу, он согласился встретить у тетушек *пасху, которая была через два дня...* (65) <...>

В глубине души он знал, что ему надо ехать, и что незачем теперь оставаться у теток, знал, что ничего из этого не могло выйти хорошего, но *было так радостно и приятно*, что он не говорил этого себе и оставался. <...>

Нехлюдов с тетушками и прислугой, не переставая поглядывать на Катюшу, которая стояла у двери и приносила *кадила, отстоял эту заутреню, похристосовался* со священником и тетушками и хотел уже идти спать, как услышал в коридоре сборы Матрены Павловны, старой горничной Марии Ивановны, вместе с Катюшей в церковь, чтобы *святить куличи и пасхи*. <...>

Вся жизнь потом эта *заутреня* осталась для Нехлюдова *одним из самых светлых и сильных* воспоминаний <...>.

Церковь была полна *праздничным народом* (66). <...>

Все было *празднично, торжественно, весело и прекрасно*: и священники в светлых серебряных с золотыми крестами ризах, и дьякон, и дьячки в праздничных серебряных и золотых стихирах, и нарядные добровольцы-певчие с масляными волосами, и веселые плясовые напевы праздничных песен, и непрестанное благословение народа священниками тройными, убранными цветами свечами, с все повторяемыми возгласами: «Христос воскрес! Христос воскрес!» Все было *прекрасно, но лучше всего была Катюша в белом платье и голубом поясе, с красным бантиком на черной голове и с сияющими восторгом глазами*» (67).

Заметим, что именно в пасхальные дни, точнее, «после этой ночи светлого Христова воскресения» (69) Нехлюдов совершает грехопадение, соображает Катюшу. Особое значение в образной системе произведения приобретает градация трех поцелуев. Первый случился три года назад, когда молодой барич, юная Катюша и дворовые играли в горелки: это был вполне невинный поцелуй «невинного молодого человека и такой же невинной девушки», «влекомого друг к другу» (59). Второй был целомудренно-ритуальным, Нехлюдов «похристосовался» с Катюшей:

«Он оглянулся на Катюшу. Она вспыхнула и в ту же минуту приблизилась к нему.

– Христос воскрес, Дмитрий Иванович.

– Воистину воскрес, – сказал он. Они поцеловались два раза и как будто задумались, нужно ли еще, и как будто решив, что нужно, поцеловались в третий раз, и оба улыбнулись <...>

В любви между мужчиной и женщиной бывает всегда одна минута, когда любовь эта доходит до своего зенита, когда нет в ней ничего сознательного, рассудочного и *нет ничего чувственного*. Такой минутой была для Нехлюдова эта ночь светлого Христова воскресения. Когда он теперь вспоминал Катюшу, то из всех положений, в которых он видел ее, эта минута застилала все другие. Черная, гладкая, блестящая головка, белое платье с складками, *девственно* охватывающее ее стройный стан и невысокую грудь, и этот румянец, и эти нежные, чуть-чуть от бессонной ночи косящие глянцевиные черные глаза, и на всем ее существе две

главные черты: *чистота девственности любви не только к нему, – он знал это – но любви ко всем и ко всему, не только хорошему, что только есть в мире, – к тому нищему, с которым она поцеловалась.*

Он знал, что в ней была эта любовь, потому что он в себе в эту ночь и в это утро признавал ее, и признавал, что *в этой любви он сливался с нею в одно*» (69).

Третий же поцелуй оказался роковым:

«Он догнал ее еще раз, опять обнял и поцеловал в шею. Этот поцелуй был совсем уже не такой, как те первых два поцелуя: один бессознательный за кустом сирени и другой нынче утром в церкви. Этот был *страшен*, и она почувствовала это» (70-71).

Спустя десять лет, когда обесчещенная им девушка была изгнана из барского дома, попала в публичный дом и стала соучастницей преступления, а он сам волей судеб оказался присяжным в суде над ней, действие возобновляется в конце апреля, т.е., по всей видимости, также в канун пасхи. Так или иначе, в XXXVIII–XL главах снова представлена заутреня. В пять часов утра в воскресенье заключенных ведут в острожную церковь. «Главное христианское богослужение», вполне возможно, и не пасхальное, на этот раз изображено Толстым в гротескно-сатирических отстраненных образах. Среди различных молитв, содержание которых «заключалось преимущественно в желании благоденствия государя императора и его семейства», а также акафистов Богородице и ее сыну, «священником очень внятно было прочитано место из Евангелия Марка, в котором сказано было, как Христос, воскресши, прежде чем улететь на небо и сесть по правую руку своего отца, явился сначала Марии Магдалине, из которой он изгнал семь бесов, и потом одиннадцати ученикам, и как велел им проповедовать Евангелие всей твари, причем объявил, что тот, кто не поверит, погибнет, кто же поверит и будет креститься, будет спасен и, кроме того, будет изгонять бесов, будет излечивать людей от болезни наложением на них рук, будет говорить новыми языками, будет брать змей, и если выпьет яд, то не умрет, а останется здоровым» (137).

Истинно верующий человек, конечно, никогда не усомнится в возможности воскресения, т.е. возвращения Богочеловека из небытия к земной жизни. Не в этом ли убеждают нас ликующие риторические возгласы: «Христос воскресе!», «Воистину воскресе!». Ликование как доминирующий пафос пасхального торжества вызвано не удивлением по поводу сверхъестественного чуда, а радостью приобщения к христианской любви как чувству, объединяющему и уравнивающему всех людей, зовущему их к «обратанию», которое, по Гоголю, «родней даже и кровного братства».

2

Исключительно важное место занимает празднование великого дня Воскресения Господня в поэтическом мире Ивана Шмелева и Владимира Набокова, произведения которых, так же, впрочем, как и шедевры Гоголя, создавались отчасти на родной земле, отчасти за границей, а лейтмотивом их творчества всегда оставалась жестокая, всепоглощающая и неутрачиваемая ностальгия.

С наибольшей полнотой и пассионарностью Пасха была воспета Шмелевым в его пронзительном «Лете Господнем», написанном в эмиграции как волнующее воспоминание о праздничном, несмотря на трагическую утрату отца, детстве, что отразилось в его подзаголовке: «Праздники – Радости – Скорби». Однако первые приступы к этой теме обнаруживаются в ранних литературных опытах писателя, в частности, в рассказе 1910 г. «Гассан и его Джеджи», опубликованном отдельной брошюрой в Дешевой библиотеке для семьи и школы в 1917 г. Это не слишком еще свершенное произведение заслуживает пристального интереса, прежде всего,

тем, что мотив Пасхи осмысливается на фоне представлений другой конфессии.

Рассказ построен как незамысловатое воспоминание о драматической судьбе старого турка Гассана, застрявшего с внучкой на чужом берегу в тщетном ожидании возвращения сына Али, рискнувшего из-за крайней нужды в жестокую непогоду выйти на промысел в море. Рассказчик, в котором явственно проступают автобиографические черты писателя, вспоминает об истории десятилетней давности, о старике и тоскующей по отцу Джедди «всякий раз, как ночью на Пасху слышит торжественный звон колоколов» (4)³. Конечно, турки, как им и положено, творят собственные молитвы (намаз), но после того, как Гассан поведал «доброму барину», вернувшемуся в Крым год спустя после первой встречи, о смерти девочки, тот, желая утешить старика, при звуках колокольного звона в неурочное время – ночью, объясняет ему сокровенный смысл христианского празднования Воскресения Господня:

«– Сегодня в ночь мы празднуем великий праздник, Гассан. Сегодня ночью воскрес наш Бог и воскресил мертвых...

Гассан шире раскрыл глаза.

– Ты... сказала... Бог... воскресил мертвых...

– Да, Гассан. Мы так верим и это было так.

Турок недоверчиво покачал головой.

Я горячо стал говорить Гассану о Христе, о его жизни, страданиях и воскресении. Он все качал головой.

– И когда будет конец этой жизни, Гассан, мы все воскреснем и увидим всех, кого любили...

Гассан схватил меня за руку.

– Постой... постой барина... Ты говорила; вы... вы... А мы? Мы?... Говори скорей!.. скорей говори!..

Он дрожал.

– А мы?... А Джедди?... скорей говори...

– И вы... и Джедди... все, все...

– Все?... и Али, и Джедди?..

– Все, Гассан. Христос всех искупил. Он всех воскресит для новой, вечной жизни...

– Э!.. э... э... Христоса... хороший Христоса... Гассан будет любить Христоса... А-а... Джедди не ушел... Джедди живой... Гассан нашел Джедди... Джедди живой... и Али... и Христоса...

– Смотри, Гассан!

Я указал ему на ясно видневшуюся площадку собора. Крестный ход с хоругвями уже шел кругом; сотни огоньков резали тьму южной ночи; звучно доносилась к морю радостная песнь Воскресения» (24–25).

Так искренняя, без глубокомысленных философских рефлексий, безоглядная вера объединяет представителей разных конфессий, одинаково понимающих, что такое добро и что такое зло и что, в конце концов, каждому воздастся по делам его.

Не будем, однако, упрощать достаточно сложное хитросплетение межконфессиональных отношений, так или иначе отразившихся в творчестве Шмелева, собственные религиозные воззрения которого ни последовательностью, ни стабильностью не отличались. В другом его рассказе «Солдат-Кузьма», 1915, нянька вполне искренно пугает ребенка:

«– Побалуй-побалуй, сейчас позову турку. Он те язык-то...

– А его солдаты не пустят!

– Турку-то? Да он везде пролезет, как нечистый»⁴.

Тот же мотив мельком дает о себе знать и в «Лете Господнем» как знак простонародного недоверия к иным формам религиозного сознания, с достаточной, однако, долей незлобивой толерантности. Речь идет о про-

тивостоящем кресту полумесяце и арабских буквах-«крючочках»: «Этому серпу-полумесяцу глупые турки поклоняются, как богу. Они завоевали войной ту гору с мощами Целителя Пантелеймона, но никого не убивают, а даже почитают нашего русского Святого, потому что он и турок исцеляет, когда на то воля Божия. Монахи и посылали отцу письма-моления, помочь им в нужде, и будут они возносить молитвы за всякую руку дающую и нескудеющую»⁵.

Точно так же на основе снятия конфронтации между христианством и исламом мотив Пасхи трактуется в повести 1919 г. «Неупиваемая Чаша». У главного героя Ильи Шаронова, прямого наследника лесковского «Очарованного странника», Пасха закономерно ассоциируется с родиной. В начале 6-й части именно в это время он прощается с родной Ляпуновкой: «Весна пришла, а все готовили барина в дальнюю дорогу. <...> Отпели Пасху. Полный расцвет весны был. Забелело черемухой кругом пруда» (397)⁶. Но заведомо не навек было это прощанье. Остаться вне родины, даже если взамен крепостной художник обретет «волю», равносильно для него смерти без надежды на Воскресение. Сама пробудившаяся от зимней спячки природа, символически возродившаяся весной, в Пасху, будто бы внушала герою мысль о неизбежности возвращения: «Новым показался ему тот лес, в новых иглах, в белой калине, в весело зеленевшем орешнике. Соловьи заревые щелкали по оврагам. И соловьям говорил – прощайте, и ключику-кадушке в логу, и ястребам в небе. И будто слышал Илья, как говорит ему лес: воротись!» (397-398).

Вот почему в следующей, 7-й части, спустя четыре года, оказавшись в напророченном ему старым богомазом Арефием католическом «Рыме», он видит в своеобразном духовном прозрении, как сквозь ренессансно-яркие краски Италии проступает милая незабвенная родина в самом сокровенном ее резонансно-ликующем пасхальном освещении: «А были дни праздников – тогда и пели и кидались цветами. А за крестным ходом – видел Илья не раз – выпускали голубей чистых и жгли огни с выстрелами: радовались. Но еще больше тянула душа на родину. Многое множество цветов было кругом – белые и розовые сады видел Илья весной: и лилии белые, тихие цветы мучеников, и маленькие фиалки, и душистая белая акация, миндаль и персик, пахучие, сладкие цветы апельсиновых и лимонных деревьев, и еще многое множество роз всякого цвета.

Но весной до тоски тянула душа на родину.

Помнил Илья тихие яблочные сады по весне, милую калину, как снегом заметанные черемухи и убранные ягодами раскидистые рябины. Помнил синие колокольчики на лесных полянах, восковые свечки ладанной любви, малиновые глазки-звездочки липкой смолянки и пушистые георгины, которыми убирают Животворящий Крест. <...>. Весенние грозы в светлых полях и ласковую, милую с детства радугу» (401–402). А спустя еще некоторое время, перед тем как принять окончательное решение, видит Илья вещий сон:

«Увидел Высоко-Владычней монастырь с садами, будто смотрит с горы, от леса. Выходит народ из монастыря с хоругвями. Тогда спустился Илья с горы, и пошел с народом, и пел пасхальное. Потом за старой иконой прошел в собор – и не стало народу. И увидел Илья с трепетом голые стены с осыпающейся на глазах известкой, кучи мусора на земле и гнезда икон – мерзость и запустение. Заплакал Илья и сказал в горе: «Господи, кто же это?». Но не получил ответа. Тогда поднял он лицо свое к богу Саваофу и увидел на зыбкой дощечке незнаемого старца с кистью. Спросил его: «Кто так надругался над святыней?». Сказал старец: «Иди, Илья! Не надругался никто, а новую роспись делаем, по слову господню». Тогда подумал Илья, что надо взять кисти и палитру и сказать, что надо Арефия на работу, а то мало... И запел радостно: «Красуйся, ликуй и радуйся!..».

И проснулся. Слышал, просыпаясь, как пел со слезами. И мокры были глаза его. Сказал твердо: домой поеду, было это мне вразумление» (402-403).

По дороге домой он встречает в Турции своего «отуречившегося» земляка Панфила-шорника, решившегося-таки променять родную землю на волю. Тот соблазняет юношу, казалось бы, разумными доводами: «– Земля-то одна – божья. Оставайся, Илья. Выдадут тебе настоящий турецкий пачпорт» (405), но сон, позвавший Илью домой, на духовный подвиг «послужить народу работой», решает все.

Пассионарным иступлением пронизана разработка мотива Пасхи в маленькой эпопее Шмелева «Солнце мертвых». В помутившемся сознании автора-повествователя и сопричастного ему персонажа, доктора, позабывшего как читается «Отче наш», размывается граница между этим и тем светом, рокируются мертвые и живые. А сияющее на небе Черное солнце воспринимается: 1) как естественный астрономический объект, источник света и тепла, особенно интенсивный в Алуште (иными словами, солнце живых); 2) как природный ориентир для фиксации времен года и суток (замена часов); 3) как призрачный двойник дневного светила, воспринимаемый во сне или голодном обмороке (заместитель луны); 4) как свидетель неслыханных, нечеловеческих зверств, совершаемых во время гражданской войны (солнце мертвых); 5) как символ конфессионально неопределенного Божества (то ли языческого, то ли зороастрийского, то ли христианского, то ли мусульманского, то ли буддийского, а, скорее, все-таки пантеистического); 6) как парадоксально-амбивалентное воплощение добра и зла, жизни и смерти, и т.д. Смысловая иррадиация символа безгранична!

На фоне общей беды доверчиво принимают друг к другу две, казалось бы, непримиримые, искони враждебные друг другу конфессии. Старый татарин посылает со своим человеком такому же неприкаянному страдальцу-русскому корзинку провизии. Вот как воспринимает тот это чудесное явление «вестника с неба»: «Не табак, не мука, не грушки... – Небо! Небо пришло из тьмы! Небо, о, Господи!». И почти сразу же, без перерыва: «Велик Аллах! Жива человеческая душа! жива!!!». С аналогичной толерантностью вторит ему посланец: «– Аллах!.. – говорит в огонь сумрачное коричневое лицо. – У тебя Аллах свой... у нас Аллах мой... Все – Аллах!

<...> Смотрит в огонь старый Абайдулин, и я смотрю. Смотрим, двое – одно, на солнце. И с нами Бог» (212–213)⁷.

Но особенно потрясают прорывающиеся сквозь христианское смирение богоборческие эскапады: «Бога у меня нет: синее небо пусто» (26) – эта страшная констатация принадлежит автору-повествователю; а вот еще более радикальные размышления его духовного двойника – доктора: «До-садно, что я, как я теперь есть, не имею логического права верить! Ибо как после такой помойки поверишь, что там есть что-то?! И “там” обанкротилось! Провалиться с таким треском, с таким балаганным дребезгом, кинуть под гогот и топот, и рык победное воскресение из животного праха “жизнь вечно-человеческую”, к чему стремились лучшие из людей, уже восходивших на белоснежные вершины духа, – это значит уже не провалиться, а вовсе не быть!» (73). В главке со зловещим названием «Конец концов» снова слово берет автор, подводя трагический итог:

«Я сидел на бугре, смотрел через городок на кладбище. Всмотривался в жизнь Мертвых. Когда солнце идет к закату, кладбищенская часовня пышно пылает золотом. Солнце смеется Мертвым. Смотрел и решал загадку – о жизни-смерти. Может случиться чудо? Небо – откроется? И есть ли это Небо? И другое решал – свое. У меня еще крест на шее, а на руке – кольцо. Отнесу греку, татарину, кому нужно ходячее золото, – бери и кольцо, и крест! Я останусь свидетелем жизни Мертвых. Полную чашу выпью. Или бросить тебя, причал последний, наш кроткий домик, – с последнею лаской взгляда?.. весны добиться и... начать великое Восхождение – на Горы? Муку в себе принять и разделить ее с миром? А миру нужна ли мука?! У мира свои забавы... Весна...

Золотыми ключами, дождями теплыми, в грозах, не отомкнет ли она земные недра, не воскресит ли Мертвых? Чаю Воскресения Мертвых! Я верю в чудо! Великое Воскресение – да будет» (240–241).

Мотив Пасхи, как у всякого истово верующего православного русского, сопровождал Шмелева на протяжении всего его творческого пути. Но какую крутую эволюцию он пережил! Что осталось от наивной веры семилетнего мальчика и несчастного турка Гассана в то, что Господь всех воскресит для вечной жизни, на страницах этой кровотокающей книги, о которой Томас Манн обронил сакраментальную фразу: «Читайте, если у вас хватит смелости», а Солженицын заключил: «Это такая правда, что и художеством не назовешь.»... Тем не менее именно в «Конце концов» прозвучали итоговые слова, выражающие неистребимую веру писателя в чудо, и не когда-нибудь, а с наступлением новой весны и приближением Пасхи: «Великое Воскресение – да будет!»

3

Особым образом переживал этот праздник Владимир Набоков, потерявший в канун Пасхи 1922 г. своего горячо любимого отца. В его творческом наследии имеется добрых два десятка произведений, в которых так или иначе упоминается Пасха. Их анализу посвящена специальная статья «Пасха в поэтическом мире Владимира Набокова-Сирина»⁸. На этот раз достаточно будет упомянуть лишь одно: 30 марта 1923 г. в газете «Руль» было опубликовано гекзаметрическое стихотворение, приуроченное к годовщине гибели В.Д. Набокова «Гекзаметры» («Смерть – это утренний луч, пробужденье весеннее. Верю...»), <30 марта> 1923. Разумеется, и в нем лирическая медитация также замыкается на теме смерти:

Смерть это утренний луч, пробужденье весеннее. Верю,
ты, погруженный в могилу, ты, пробужденный, свободный,
ходишь, сияя незримо, здесь, между нами – до срока спящими...
О, наклонись надо мной, сон мой послушай... (262)⁹.

Налицо воспроизведение гамлетовской ситуации: randеву сына со злодейски убиенным отцом. Вспомним:

I'll call thee Hamlet,
King, father, royal Dane, O, answer me,
Let me not burst in ignorance, but tell
Why thy canonized bones hearsed in death
Have burst their cerements? why the sepulchre
Wherein we saw thee quietly interred
Hath oped his ponderous and marble jaws,
To cast thee up again? what may this mean
That thou dead corse again in complete steel...¹⁰

...отец мой, Гамлет,
Король, властитель датский, отвечай!
Не дай пропасть в неведение. Скажи мне,
Зачем на преданных земле костях
Разорван саван? Отчего гробница,
Где мы в покое видели твой прах,
Разжала с силой челюсти из камня,
Чтоб выплюнуть тебя? Чем объяснить,
Что бездыханный труп, в вооруженье,
Ты движешься, обезобразив ночь,
В лучах луны, и нам, простейшим смертным,
Так страшно потрясаешь существо
Загадками не нашего охвата?
Скажи, зачем? К чему? Что делать нам?

(У. Шекспир. *Гамлет* / пер. Б. Пастернака)

Как был убежден Иннокентий Анненский, для Гамлета «после холодной и лунной ночи в Эльсинорском саду, жизнь не может уже быть ни действием, ни наслаждением. Дорогая непосредственность – этот корсаж Офелии, который, кажется, так легко отделить от ее груди, – стал для него только призраком. Нельзя оправдать оба мира и жить двумя мирами зараз. Если тот – лунный мир – существует, то другой – солнечный, все эти Озрики и Полонии – лишь дьявольский обман, и годится разве на то, чтобы его вышучивать и с ним играть... Но если Тень старого Гамлета создана мыслью, то разве может реально существующее вызывать что-нибудь, кроме злобы и презрения, раз в его пределах не стало места для самого благородного и прекрасного из Божьих созданий?»¹¹.

Другим весьма вероятным примером, подсказавшим Набокову архетипическую ситуацию свидания живого сына с покойным отцом, могло быть стихотворение Евгения Баратынского «Запустение», 1834: «Я посетил тебя, пленительная сень,/ Не в дни веселые живительного мая,/ Когда, зелеными ветвями помавая,/ Манишь ты путника в свою густую тень...». И. Бродский считал его лучшим стихотворением в русской поэзии: «В “Запустении” все гениально: поэтика, синтаксис, восприятие мира. Дикция совершенно невероятная. В конце, где Баратынский говорит о своем отце: “Давно кругом меня о нем умолкнул слух,/ Прияла прах его далекая могила,/ Мне память образа его не сохранила...” Это все очень точно, да? “Но здесь еще живет...” И вдруг это потрясающее прилагательное: “... его доступный дух”. И Баратынский продолжает: “Здесь друг мечтания и природы,/ Я познаю его вполне...” Это об отце... “Он вдохновением волнуется во мне./ Он славить мне велит леса, долины, воды...”. И слушайте дальше, какая потрясающая дикция: “Он убедительно пророчит мне страну,/ Где я наследую несрочную весну,/ Где разрушения следов я не примечу,/ Где в сладостной тени невянущих дубров,/ У нескудеющих священную мне, встречу”. По-моему, это гениальные стихи. Лучше, чем пушкинские. Это моя старая идея. Тот свет, встреча с отцом – ну кто об этом так говорил? Религиозное сознание встречи с папашей не предполагает.

СВ: А «Гамлет» Шекспира?

ИБ: Ну Шекспир. Ну греческая классика. Ну Вергилий. Но не русская традиция. Для русской традиции это мышление совершенно уникальное»¹².

Баратынский различает тень своего отца (заметим, тоже весной, накануне Пасхи) не воочию, но духовным взором; его «доступный дух» он воспринимает как каламбурную сублимацию поэтического вдохновения: «он вдохновением волнуется во мне» (именно «во мне», внутри лирического героя, а не во вне его!).

Отношение Набокова к потустороннему принципиально иное. «Жить двумя мирами зараз» не было для него проблемой. Издавая в 1979 г. «почти полное собрание стихов» своего мужа, вдова поэта Вера Набокова обратила внимание на его, как ей представлялось, «главную тему», которой «пропитано все, что он писал; она, как некий водяной знак, символизирует все его творчество». Речь шла о «потусторонности», как поэт «сам ее назвал в своем последнем стихотворении “Влюбленность”». Тема эта намечается уже в таких ранних произведениях Набокова, как “Еще безмолвствую и крепну я в тиши...”, просвечивает в “Как я люблю тебя...” (“...и в вечное пройти украдкой насквозь”), в “Вечере на пустыре” (“...оттого что закрыто неплотно,/ и уже невозможно отнять...”) и во многих других его произведениях. Но ближе всего он к ней подошел в стихотворении «Слава», где <...> определил ее совершенно откровенно как тайну, которую носит в душе и выдать которую не должен и не может»¹³.

В том-то и дело, что в отличие от Гамлета и лирического героя Баратынского его набоковский брат охотно готов жить или, по крайней мере,

присутствовать в реальном и потустороннем мирах одновременно, поскольку дверь между ними для него «закрыта неплотно»... Не оттого ли так часто, охотно и легко общается он с «человеком», «идушим ему навстречу сквозь сумерки»? Он не испытывает, подобно датскому принцу, мистического ужаса, у него нет и тени сомнения: «настойчивым и нежным свистом» подзывает собаку и бодрым шагом приближается к нему не кто-нибудь, а его давно умерший отец, не изменившийся «с тех пор как умер» (201) («Вечер на пустыре»).

И на этот раз Набоков трактует классическую ситуацию по-своему, актуализируя применительно к ней светлый праздник Воскресения Богочеловека. Лирический герой его «Гекзаметров», воспринимающий смерть как «утренний луч» и как «пробуждение весеннее», можно сказать, физически ощущает присутствие в этом мире, «между нами – до срока/ спящими» (262) адресата своей взыскующей медитации. Парадоксальным образом «спящими» оказываются живые, между которыми, бодрствуя, «ходит» пришелец с того света! В финальном аккорде темы смерти и воскресения вполне ожидаемо сопрягаются с лейтмотивной в контексте всего набоковского творчества темой разлуки с Родиной:

Я чую: ты ходишь так близко,
смотришь на спящих: ветер твой нежный целует мне веки,
что-то во сне я шепчу: наклонись надо мной и услышишь
смутное имя одно – что звучнее рыданий, и слаще
песен земных, и глубже молитвы, – имя отчизны. (262)

Светлый праздник Христова Воскресения трактовался Набоковым весьма неоднозначно, однако самым отмеченным для идиостиля поэта аспектом поэтического переживания и воплощения праздника Пасхи оказалась гамлетовская ситуация рандеву сына со злодейски умерщвленным отцом и связанная с ней возможность преодолеть границу между жизнью и смертью, преходящим и вечным, земным и небесным.

Библиографический список

- Анненский Иннокентий. Вторая книга отражений. – М., 1989. – 679 с.
- Волков Соломон. Разговоры с Иосифом Бродским. – М.: «Независимая газета», 1998. – 328 с.
- Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т. – М., 1978. Т. 6. – 559 с.
- Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. – М., 2004. – 560 с.
- Набоков В.В. Стихотворения. – СПб., 2002. – 655.
- Набокова Вера. Предисловие к сборнику: В. Набоков. Стихи (1979) // URL: <http://www.lib.ru/NABOKOW/stihi.txt> (дата обращения: 13.02.2013).
- Федотов О.И. Пасха в поэтическом мире Владимира Набокова-Сирина // Festkultur in der russischen Literatur (18. bis 21. Jahrhundert)/ Alexander Graf (Hrsg.). Herbert Utz Verlag. München, 2010. – S. 201–211.
- Шекспир Уильям. Гамлет (В поисках подлинника) / пер., подг. текста оригинала, комм. и вводн. ст. И.В. Пешкова. – М., ММШ. – 166 с.
- Шмелев Иван. Гассан и Джедди. Рассказ. – М.: Дешевая библиотека для семьи и школы, 1917. – 32 с.
- Шмелев И.С. Лето Господне // Шмелев Ив. Богомолье. Романы. Рассказы. – М., 2001. – С.13–388.
- Шмелев И.С. Неупиваемая чаша // Шмелев Ив. Солнце мертвых. Повести. Рассказы. Эпопея. – М.: Русская книга, 2001. – С. 379–435.
- Шмелев И.С. Солдат Кузьма (Из детских воспоминаний приятеля) // Шмелев И.С. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 8 (доп.). – М.: Русская книга, 2000. – С. 220–239.

Шмелев И.С. Солнце мертвых. Эпопея // С того берега. Писатели русского зарубежья о России. Произведения 20-30-х гг. Книга первая. И. Шмелев, А. Ремизов, Б. Зайцев. М.: Водолей, 1992. – С. 9–247.

¹ Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т. – М., 1978. – Т. 6. Здесь и далее ссылки на это издание даются непосредственно в тексте, с указанием страниц в круглых скобках.

² Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. – М., 2004. – С. 30.

³ Шмелев Иван. Гассан и Джеджи. Рассказ. Дешевая библиотека для семьи и школы. – М., 1917. Здесь и далее ссылки на это издания даются в тексте, с указанием страниц в круглых скобках.

⁴ Шмелев И.С. Солдат Кузьма (Из детских воспоминаний приятеля) // Шмелев И.С. Собрание сочинений: В 5 т. – Т. 8 (доп.). – М.: Русская книга, 2000. – С. 230.

⁵ Шмелев И.С. Лето Господне // Шмелев Ив. Богомолье. Романы. Рассказы. – М., 2001. – С. 340–341.

⁶ Шмелев И.С. Неупиваемая чаша // Шмелев Ив. Солнце мертвых. Повести. Рассказы. Эпопея. – М.: Русская книга, 2001.

⁷ Здесь и далее ссылки на текст «Солнца мертвых» даются по изданию: Шмелев И. Солнце мертвых. Эпопея // С того берега. Писатели русского зарубежья о России. Произведения 20–30-х гг. Книга первая. И. Шмелев, А. Ремизов, Б. Зайцев. – М.: Водолей, 1992.

⁸ Федотов О.И. Пасха в поэтическом мире Владимира Набокова-Сирина // *Festkultur in der russischen Literatur (18. bis 21. Jahrhundert)* / Alexander Graf (Hrsg.). Herbert Utz Verlag. München, 2010. – S. 201–211.

⁹ Здесь и далее стихотворные произведения В. Набокова цитируются по: Набоков В.В. Стихотворения. – СПб., 2002., с указанием страниц в круглых скобках.

¹⁰ Шекспир Уильям. Гамлет (В поисках подлинника) / пер., подг. текста оригинала, комм. и вводн. ст. И.В. Пешкова. – М., ММШ. – С. 24.

¹¹ Анненский Иннокентий. Вторая книга отражений. – М., 1979. – С. 163.

¹² Волков Соломон. Разговоры с Иосифом Бродским. – М.: «Независимая газета», 1998. – С. 230.

¹³ Набокова Вера. Предисловие к сборнику: В. Набоков. Стихи (1979) // В. В. Набоков: pro et contra. – СПб., 1997. – С. 349.